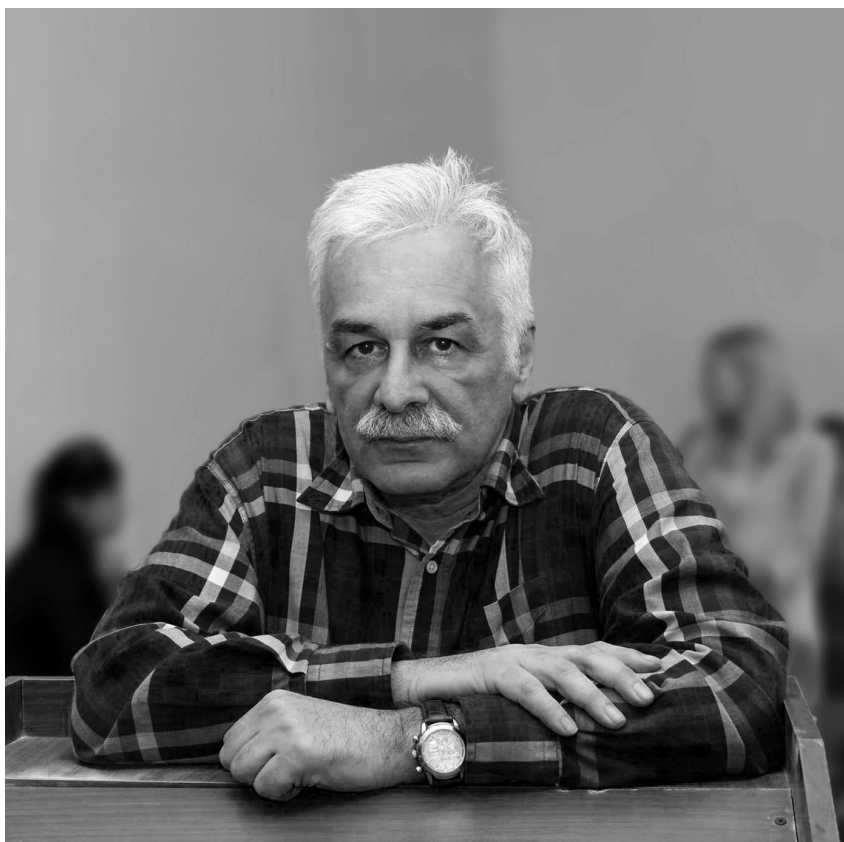


## ЭССЕ О ДВОЙНИЧЕСТВЕ (РИТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД)



**Георгий Георгиевич Хазагеров**

доктор филологических наук, профессор Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия)

e-mail: khazagerov@gmail.com

**Аннотация.** В эссе представлен риторический взгляд на культурно-историческую типологию двойничества в русском национальном контексте. Выявлены, в частности, два пика двойничества в истории русской культуры – XVII в. и 1970-е гг. Риторика двойничества связывается с нарушением баланса вертикальных – горизонтальных, монологических – диалогических отношений внутри общества. В указанные периоды диалогические отношения вытесняются в «низовой» социальный мир, стимулируя развитие низовых – сатирических, пародийных – жанровых форм. Если в XVII в. наиболее репрезентационной для двойничества является «двойническая повесть» («Повесть о Горе и Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне»), то в 1970-х гг. эту жанрово-речевую сферу занимают партийное «двоемыслие», школярская травестия, каламбуры, частушки и анекдоты, а также творчество Владимира Высоцкого. В поэтике Высоцкого разрабатываются различные ролевые ипостаси «того, который во мне сидит», сатира вырастает до языковой рефлексии (иронического дистанцирования от дискурса «телевизора» и пародии на просторечие). Существенным свойством двойничества предстает в итоге его амбивалентная связь, с одной стороны, с архаическим мышлением, с другой стороны, с рефлексией, что и позволяет исследовать его в двух направлениях – эстетическом и социально-этическом.

**Ключевые слова:** двойничество, двоемыслие, двойническая повесть, монолог, диалог, карнавал, риторика, Владимир Высоцкий.

Двойничество избирательно. При всей своей архетипичности оно обнаруживает тяготение к определенным национальным культурам, а внутри этих культур – к определенным эпохам. Дмитрий Лихачев – а ему можно верить – рассказал нам, что двойничество в высокой степени присуще именно русской культуре, Джеймс Фрэйзер – и к нему следует прислушаться – научил нас, что оно в разных культурах проявляет себя по-разному. В самой русской культуре можно обнаружить два временных пика двойничества: семнадцатый век и семидесятые годы двадцатого века. В семнадцатом веке появляется двойническая повесть. В семидесятые годы, помимо всего прочего, творит Владимир Высоцкий, один из самых влиятельных авторов времени, у которого почти в каждом стихотворении присутствует тема двойничества. Конечно, и девятнадцатый век, и другие декады двадцатого не остались в стороне. Но семидесятые – это особая тема, и двойничество этого периода на удивление типологически схоже с ранними его образцами, вплоть до обращения к древнерусскому сюжету в песне Высоцкого «Две судьбы». В свое время редакция журнала «Знамя» попросила меня откликнуться на альманах «Семидесятые как предмет истории русской культуры» (1998, Москва – Венеция). Прочитав его, я недолго подбирал ключевое слово и статью 1998 года так и назвал «Семидесятые. Двойничество? Двоемирие? Бинарность?». Были к этому резоны.

Неравномерному присутствию двойничества в истории литературы нетрудно дать литературоведческое объяснение. В семнадцатом веке, например, оно объясняется недостаточной разработанностью категории характера. В девятнадцатом и двадцатом – углубленной разработанностью характера же: открылась его диалектика.

Но я предлагаю посмотреть на вещи с риторической точки зрения. А риторика проста, как известное сельскохозяйственное орудие, на которое не следует наступать, но которым можно пользоваться. Чтобы избежать снижения стиля, назовем его по латыни – *pesten*. Сельскохозяйственное орудие я вспомнил не для красного словца: вся суть риторики, весь ее телеологический смысл состоит в культивировании общения и общества, в окультуривании среды. И вот под этим-то углом, под углом культивирования, я предлагаю посмотреть на социальную роль двойничества. А роль эта, действительно, выглядит по-разному в разных культурах и в разные эпохи.

Риторика окультуривает социальные связи двойко. Жанры торжественного красноречия, не предполагающие полемичности, культивируют вертикальные связи. Это мир проповеди, панегирика, проклятий, учительного слова и – в поздние времена – пропаганды. Полемические жанры судебного и совещательного красноречия окультуривают горизонтальные связи. Это мир договоров,

торговли, ученых дискуссий – всего того, где люди поставлены в равные отношения друг к другу и вынуждены так или иначе договариваться. Если культивировать только вертикальные связи, горизонтальные останутся неокультурными и со временем превратятся в питательную среду для сниженного, циничного, возможно, криминального взгляда на мир. Если, напротив, не возделывать вертикальные связи и оставить их на откуп одичанию, возникнет питательная среда для релятивизма (не путать с плюрализмом и справиться у Исаяи Берлина), ересей, мракобесия, шарлатанства, то есть варварства в мире учительного слова.

Культивирование торжественного слова совпало с самым началом русской словесности, слово же полемическое являлось в письменную речь редко, если не считать взаимного анафематствования вроде известной переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, что горизонтальными связями никак не назовешь. В семнадцатом веке на сцену вышел «низовой» мир, с его обмирщенным языком, «демократической сатирой» и другими сопутствующими явлениями. Об этом писали много. Но не писали о том, что диалог и горизонтальные отношения равных с равными на протяжении веков проживали именно в этом «низовом» мире. Там, в тени письменной литературы, обреталось диалогическое начало. Плевако с Кони не оттачивали словесное мастерство в судах Москов-

ской Руси, и явились нам эти суды из тени в виде Шемякина суда и «Повести о Ерше Ершовиче». Явились в одной связке с амбивалентностью, с «народной смеховой культурой», с двойственным отношением к плуту Фролу Скобееву и т.п. Явились в то время, когда в русской книжности, выросшей на образцах Иоанна Златоуста и раннего русского красноречия киевского периода, никакой неокультурной, первозданной архаики уже не было. Монолог клонился к «эллинизму», а диалог переживал утро человечества.

Вот в этот момент и явилась двойническая повесть. Явилась и как архаика, и как преодоление архаики, как подготовка к настоящей диалогической культуре. Явились не только Фома и Ерема с их правополушарным бэкграундом. Явились оппоненты доброго молодца – Горе и Злочастие, явились Савва Грудцын со своим ложным другом. Иными словами, явились собеседники, а не один только вышедший из-под спуда архетип – тихая радость филолога. Были явлены первые шаги по культивированию диалогического начала, когда расширяется смысловое пространство языка, когда являются новые общие места – топика будущих споров.

Горе – заведомо отрицательный персонаж, но аргументы его свежи и, хотя автор с ними не согласен, вводятся самим фактом своего предъявления в понятийном поле. В пользу пьянства и безответственности, например, Горе выдвигает аргумент вполне жизнеспособ-

собный и живучий: пропьешь имущество – не о чем будет беспокоиться. Этот аргумент маскируется под христианский. Недаром Горе притворяется архангелом Гавриилом: «Да не бьют, не мучат нагих-босых и из раю нагих-босых не выгонят». Мармеладов и двести лет спустя пользовался подобной аргументацией, да и сам автор «Преступления и наказания» не бесспорным, с моей точки зрения, образом развивал библейскую мысль о том, как именно «последние станут первыми». Даже марксизм не прошел мимо топосов Горя-Злочастия: «а нагому-босому шумит разбой», то есть терять ему нечего и открывается широкий путь для насильственного отъема чужого имущества. Аргументации Горя, разумеется, противопоставлена сюжетная канва и некоторое морализаторство автора. Прямого спора еще нет. Но инструменты для него уже налицо.

Аргументы Горя казуистичны. Семнадцатый век вообще любит казуистические аргументы – свидетельство ранней стадии здорового развития полемики (вспомним древние софизмы). Казуистичны и в прямом, и в переносном смысле аргументы бражника, вошедшего в рай. Казуистичны аргументы в «Шемякином суде» и т.п.

В интерпретации этих случаев риторике никак не пристало ссылаться на глубоко враждебную ей теорию карнавала, которая признает за риторикой только один вид – пародию на риторикой. Праздничное наруше-

ние всевозможных табу дает-де замученному средневековому человеку живительные силы. Но социальные табу в корне отличаются от табу в мире эроса и танатоса по той простой причине, что социальный мир изменчив и в том числе подвержен прогрессивным изменениям. А прогрессивные изменения предполагают такую риторикой, которую никак не назовешь монологом. Только это не разовая социальная анестезия карнавала, а реальная необходимость договариваться друг с другом не с помощью общей осанной и полифонии, а с помощью компромиссов и взаимных уступок, а главное – взаимного понимания, откуда и открывается путь к правовому государству. Да, риторика обескураживающе проста в своих установках, но нельзя не заметить, что и великий писатель, и великий ученый прошли мимо этих установок. Один отрицал суд присяжных, другой считал риторикой монологом. Однако исторический опыт показывает, что судить можно не только «по понятиям», а добиваться социальной справедливости – не только с помощью праздничного маскарада. Именно поэтому риторике стоит пристальнее всмотреться в то, что окутано для наблюдателя туманом «мифопоэтики», «карнавализации» и лежит, так сказать, в тени мирового дерева. Ей следует задуматься над актуальной темой формирования общества. С этой точки зрения ей и следует смотреть на двойничество. И если девятнадцатый век плохо понимал

уроки полемической риторики (Толстой, Достоевский), то порывы в сторону полемики в семнадцатом веке следует особенно ценить и по возможности не смешивать их с вечными гостями из правополушарного мира.

Однако век, последовавший за «бунташным» семнадцатым, меньше всего был обеспокоен культивированием судебного и сощательного красноречия. Он сосредоточился исключительно на шлифовании вертикальных отношений, он задал целую топику с культом царей, доведя до блеска жанр панегирика и подведя под придворный регламент теоретическую базу. Горизонтальные связи в это время могли быть окультурены только опосредованно, через отсылку к вертикальным: знаменитое «чин чина почитай» из «Табели о рангах». Диалог продолжал жить в «низовом мире», в плутовских сюжетных ходах. Правда, на свет явилась драма, но это не была драма Шекспира с ее напряженной и виртуозной риторикой. Классицизм продолжал исполнять свои грандиозные балеты в стиле Людовика XIV до самого удушения императора Павла.

Ситуация в корне изменилась в девятнадцатом веке благодаря журнальной полемике, судебной реформе и нарождающимся гражданским институтам, которые в конце концов открыли дорогу парламентаризму. Литературное двойничество девятнадцатого века не имело такой социальной востребованности, как прежде, а главное – оно было

слишком разнородным. В раздвоении Ивана – это лихорадочная работа мысли, присутствующая и в монологах того же автора. Например, речь Фетюковича – это бешеная смена противоположных аргументов. Достоевский пишет пародию на современную ему судебную речь, но пародирует собственный стиль: ни Спасович, ни Александров, в которых метил писатель, такого «двойничества» в своих речах не допускали. Ни в каком суде на таком коротком отрезке не сталкиваются с такой интенсивностью прямо противоположные мысли. Совсем иначе выглядит двойничество у Чехова, где черный монах не спорит с главным героем.

В двадцатом веке монологическая риторика большевиков последовательно изгоняла из публичного пространства полемическое начало, сталкивая его в «низовую мир». Цель вытолкнуть диалог вниз, разумеется, не ставилась, но фактически именно это и осуществлялось. Именно из «низового мира» пришел в свое время в публичное пространство «стеб» с его достойной «народной смеховой культуры» амбивалентностью, оттуда же пришел блатной язык с соответствующей ему картиной мира, устроенного «по понятиям».

Любопытно, что в подцензурной советской литературе некоторый карнавал все же допускался. Бес (шпион) в «Судьбе барабанщика» пародирует советские общие места. В юмореске Катаева, часто передаваемой по радио, можно было услышать: «Птичка гласу Маркса

внемлет, встрепенется и поет: “Это есть наш последний и решительный бой”». Что же касается Фрола Скобеева (Остапа Бендера), то мне кажется, что оба романа Ильфа и Петрова, а главное, их рецепция еще недостаточно изучены. Слово «трикстер» мало о чем говорит, а вот то, что этими романами сначала зачитывалась старая интеллигенция, а потом, спустя несколько десятилетий, брежневская партноменклатура, говорит о многом.

Все отпущенные ей годы Советская власть занималась окультуриванием вертикальных связей. Любой выпускник школы умел выступать на официальном собрании. Функциональная стилистика (новая риторика Ломоносова) шлифовала все стили литературного языка, некоторая заминка была только с «разговорным». К семидесятым годам официальный язык стал настолько гладким, что легко эмансипировался от содержания и перешел в сферу ритуала. К услугам каждого был огромный запас общих мест, которые тогда предпочитали именовать «газетными штампами», а позже назвали «идеологемами». В целом это были обыкновенные инструменты для незатруднительного плетения словес. Но реальные переговоры, когда речь шла о принятии решения, а не о придании ему протокольной формы, происходили на другом языке. В этом смысле никакого «официально-делового стиля» никогда не существовало. Между деловым и официальным была такая же пропасть, как между ма-

терной руганью и придворным этикетом.

К концу Советской власти совершенно по тем же причинам, что и триста лет назад, и даже с тем же «мифопоэтическим» привкусом амбивалентности у порога встало Двойничество. Это было партийное «двоемыслие». Это была раздвоенность хозяйственника между планом и тем, что позже назвали административным рынком. Это была раздвоенность филолога, помещавшего на первых страницах своей монографии цитаты из классиков марксизма, а затем острожно предававшегося своим мечтам. Это была школярская травестия (карнавал), иногда выплескивающаяся в КВН. Это была массовая переработка «газетных штампов» в каламбурах, частушках и анекдотах. В ту пору лингвисты называли такую переработку «паронимическим взрывом», но откуда взялся массовый вкус к «паронимической аттракции» и «деформации идиомы», объяснить не смогли или не захотели. Низовой и он же диалогический мир снова искал выхода. Самые широкие ворота ему открыл Владимир Высоцкий.

В творчестве Высоцкого мы встречаемся с различными видами двойничества. Классический вид – это заблуждения «добротного молодца», отмысленные от него в виде отдельных персонажей и часто вступающие с ним в диалог. Витрину разбил не сам лирический герой, а «подлое его второе Я». Горе и Злочастье в виде Кривой и Нележкой снова

включаются в преследование молодца. Только сейчас являются на свет новые аргументы: нельзя плыть по течению, даже если ты живешь «по учению». Кроме того, Кривая на этот раз противопоставлена Нележкой – это две разные напасти: конформизм и необдуманный жест, продиктованный отчаянием. Есть и положительные двойники – героическое начало в человеке, заставляющие не щадить себя. «Тот, который во мне сидит» действует подобно черному монаху. Но главный герой Высоцкого – «жертва телевиденья». В нем поселяется пропаганда, ее клише и штампы. «Телевизор» уже внутри героя, и с этим диагнозом его ждет Канатчикова дача. В творчестве Высоцкого низовой мир с его «диалогом у телевизора» получает второй этаж – надстройку в виде языковой рефлексии.

В семидесятые годы просторечие, хлынувшее в околоцензурную литературу, было не просто цитатой просторечия, предназна-

ченной для «тех, кто понимает», но своего рода демонтажом просторечия. Это была не только пародия на низовой мир, как это произошло в интеллигентском сознании, а шаг к самоосмыслению низового мира. И неслучайно тот же Высоцкий получил признание далеко за пределами интеллигентской аудитории. Второй раз за историю русской словесности двойничество решало важную социальную задачу – окультуривание горизонтальных связей. На этот раз в куда более осязаемом масштабе.

Остается сказать два слова о научном пафосе этого неформального и неформатного эссе. Сама тема двойничества раздваивается. С одной стороны, двойничество связано с архаичным, мифологическим мышлением, с другой, напротив, – с рефлексией. Первое имеет психологическую и эстетическую ценность, второе – социальную и этическую. Соответственно, и исследование может пойти по одному из двух путей.



## ESSAY ON DOUBLENES (RHETORICAL VIEW)

Georgiy G. Khazagerov, PhD, Professor, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia),  
e-mail: khazagerov@gmail.com.

**Abstract.** The essay presents a rhetorical perspective on the cultural and historical typology of doubleness in the Russian national context. It detects two peaks of doubleness in the history of Russian culture – the XVII century and the 1970s. The rhetoric of doubleness is associated with the disruption of the balance of vertical – horizontal, and monological – dialogical relations within society. During such periods dialogical relations are transferred to the “bottom” social sphere, encouraging the development of lower genre forms – satire and parody. In the XVII century the “doubleness story” was the most representative form of doubleness (“The Tale of Woe and Unhappiness”, “The Tale of Savva Grudtsin”), in the 1970s this genre and speech sphere was occupied by particularly “doublethink”, school-like travesty, puns, ditties and anecdotes, as well as the works of Vladimir Vysotsky. The poetics of Vladimir Vysotsky developed various role-playing incarnations of “someone inside of me”, his satire grew up to include the language of reflection

(involving an ironic distancing from the discourse of “TV” and a parody of vernacular speech). An important feature of doubleness appears to be its ambivalent relationship, on the one hand, with archaic thinking, on the other with reflection. This allows its exploration in two ways – aesthetic and socio-ethical.

**Key words:** doubleness, doublethink, doubleness story, monologue, dialogue, carnival, rhetoric, Vladimir Vysotsky.

